

ОТЕЦ ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ*

БЕСЕДА В ТАШКЕНТСКОЙ ТЮРЬМЕ

До тюрьмы я доехал трамваем. Предъявляю удостоверение адвоката и разрешение суда на свидание. Захожу в специально отведенный для свиданий кабинет. Сколько их я видел на своем веку! Стол, два стула, прикрепленных к полу болтами, светлосерая краска для стен, решетки на окнах. Безрадостный казеный тюремный быт. Но для заключенного свидание — событие. Пришел человек с воли. Принес новости, свидание — соломинка, островок надежды, надежды на чудо.

Приводят Адельгейма. Дверь за конвойным захлопывается, и мы остаемся наедине. Павел Анатольевич насторожен, смотрит внимательно, держится отчужденно, а я изучающе смотрю на него. Шатен, мягкий овал лица, сероголубые глаза, худощавый, выше среднего роста, совсем не таким я представлял его. Ему уже тридцать, но выглядит моложаво, даже по-мальчишески. Открытое лицо, быстрый и умный взгляд, речь интеллигентного человека, держится скромно и с достоинством. Весь его облик — контраст с серой безликостью тюрьмы.

* Продолжение. Начало см. в выпуске № 16.

— Вы из Москвы? — недоверчиво спрашивает он.

Вытаскиваю свои записи, в которых лежит записка Веры Михайловны и фотография детей, раскрывая папку, говорю:

— Вы обвинительное заключение получили? — А глазами указываю на записку и фото.

— Получил. — Взглядом приникает к записке — почерк жены, фото его детей, значит, адвокат приглашен женой.

Павел Анатольевич вскакивает со стула, хватает мои руки, трясет, жмет, улыбается, говорит: "Спасибо, спасибо". Отчужденность сломлена, недоверие преодолено!

Минут через десять успокоился и сразу же:

— Как там Вера? дети? Я их уже больше полугода не видел и ничего о них не знаю.

Рассказываю. Дома все в порядке, дети здоровы, пока живут в квартире при церкви. Их никто не тревожит. Вера Михайловна не работает. О работе будет думать после суда. Друзья передают приветы. Они не забыли его, помогают семье.

— А как Вы в Ташкенте устроились? Вам помогли?

— Я-то устроился, но сейчас речь не обо мне. Расскажите-ка лучше о себе.

— Вы уже дело читали и, наверное, знаете обо мне и о моем деле.

— Верно, дело я читал. Но бумаги — одно, а живой рассказ о себе, совсем другое дело. Начните с биографии.

— Родился я в 1938 году. За год до моего рож-

дения арестовали деда. В 1942 году, когда мне было четыре года, арестовали отца и мать. Они были актерами. Больше у меня никого из родных не было, и меня поместили в детский дом. Отцу было тридцать лет. Столько же, сколько мне сейчас. Теперь вот и меня арестовали! Третье поколение в тюрьме... Отца расстреляли. В 1956 году реабилитировали, подробности мне стали известны только из справки, которая в моем деле. Вы ее, наверное, видели.

В своем досье нахожу выписку и показываю ее Павлу Анатольевичу: т. 2 л. д. 211 "Справка по прекращенному архивному уголовному делу № 3845-11 на Адельгейма А. П. и других".

— Да, из этой справки я и узнал, что в 1942 году УНКВД по Ивановской области арестовало группу драматических театров, обвинив их в антисоветской агитации и намерении изменить Родине. (Нет, в справке не ошибка, именно "группу театров".)

— В составе этой группы арестовали и моего отца и мать. В сентябре 1942 года его судило особое совещание НКВД СССР и приговорило к высшей мере наказания — расстрелу. Спустя четырнадцать лет признали, что он расстрелян по ошибке. Мать отправили в тюрьму и ссылку. Вернулась оттуда инвалидом второй группы. Я Вам уже говорил, что деда моего арестовали в 1937 году. Наверно, тоже расстреляли, сведений о нем нет. А может, погиб на Колыме. Теперь и за меня взялись...

— При каких обстоятельствах Вы были арестованы?

— Арестовали меня 14 декабря 1969 г. Жены дома не было. Были маленькие дети и я. Дом перевернули вверх ногами! Произвели обыск и изъяли личную переписку, мой архив за пятнадцать лет, книги зарубежных изданий, пишущую машинку и все накопленные нами за одиннадцать лет деньги. Семье на хозяйство не оставили ни гроша! Обыск производил приехавший из Ташкента в город Каган следователь КГБ Витенков. Он же мне и сказал, что за мной длительное время следили и арестовать меня все равно должны были. Я дословно помню его слова: "Рано или поздно, но это все равно должно было случиться". Значит, давно знали, что арестуют. Обвинение в избиении Тани — просто выдуманный предлог для обыска в моей квартире. А на самом деле им нужно расправиться со мной. Неугоден я им. Я догадываюсь почему. В деле об этом Вы не прочтете. Но именно эта причина была основной для ареста и расправы со мной. Вы знаете, церкви везде закрывают, церковные здания, кроме тех, что представляют архитектурную ценность, сносят. А я построил церковь в Кагане. Это было очень трудно. Ни денег, ни материалов не было. Деньги собрали прихожане. Строительные материалы: кирпич, цемент, стекло — все фондируется. А кто церкви даст фонды? Никто. Но и это преодолел. Нашел рабочих и воздвигли церковь! Стоит она! Будете в Кагане — посмотрите обязательно. Красивая! А как расписали ее! С какой любовью работали! Но отношения у меня с уполномоченным по делам Русской

православной церкви испортились вконец. Не мог он мне простить, что я построил церковь и уважением у прихожан пользовался. Как-то во время беседы он мне сказал, что самовольство мое мне припомнится... Вот и припомнили! Но судить за то, что церковь воздвиг, нельзя. Нужно было подыскать мне преступление. Поэтому годами выжидали и следили. А теперь сфабриковали обвинение.

Вообще-то со мной пытаются расправиться не в первый раз. В 1959 году после окончания третьего курса духовной семинарии я был рукоположен в сан диакона и служил в Ташкентском кафедральном соборе. Люди говорили, что служил хорошо, благодарили меня. Вдруг "Правда Востока" в начале 1962 года напечатала статью протодиакона Ташкентского Успенского собора Василия Погорелова "Отрекаюсь". И чего только в этой статье не было! Погорелов был личным секретарем архиепископа Ермогена. Владыка был самостоятельный, умный человек, искренне заботился о церкви и поэтому он пришелся не ко двору. Его решили убрать. Разве против уполномоченного по делам Русской православной церкви, КГБ и ЦК устоишь! Епархию наводнили доносчиками и агентами. Следили за каждым шагом — прослушивали каждую проповедь, собирали материал... и доносили. Когда появилась статья, архиепископа Ермогена уже в Ташкенте не было. Был архиепископ Гавриил. Его обвиняли в том, что он — бывший белый офицер Огородников, бежавший в 1919 году за границу;

став архиепископом, он получал из-за границы ладан и спекулировал им.

Помню, архимандрита Холчева обвиняли в ненависти к людям, настоятеля всесвятого молитвенного дома Гревулю – во взяточничестве, ну а меня – в сотрудничестве с фашистами... Фамилия-то у меня немецкая – Adelheim.

Я как сейчас помню те строки, что прочел в той статье про себя:

“Разве имеет страх Божий диакон собора Павел Адельгейм, бесчинствовавший на оккупированной территории? Все это умело скрывается в анкетах”.

А мне к началу войны всего-то было три года!..

В шестидесятые годы в Ташкенте больше стало верующих. В церкви появилась молодежь. Это не понравилось идеологическому отделу ЦК. Видимо, решили усилить атеистическую пропаганду – вот и напали на всех церковных деятелей, облили их грязью, обвинили в несуществующих грехах, а заодно и религию поносили.

Сделали это руками Погорелова. Плохой он человек, не честный... Да и статья-то написана не его языком. “Факты” о том, что архиепископ Гавриил – белый офицер, а я сотрудничал с немцами, ему подсунули. Ведь Погорелов знал, что в 1941 году мне было три года, ведь служили-то вместе. Думаю, что статью писал не он. Его просто использовали для антирелигиозной пропаганды – сенсация, разоблачения священника.

Статью прочли сотни тысяч, а правду можно рассказать единицам, вот и достигнут политический эффект: все церковники-мракобесы, спекулянты, белые эмигранты, сами не верят в Бога. Все примитивно, все клевета и неправда, но не отмоешься. Печатное слово как деготь... Потом лекторы по антирелигиозной пропаганде и атеизму эту статью по всей республике читали. Так сказать, доводили до сознания масс.

Павел вздохнул и замолчал.

Мне, так же как и Павлу Анатольевичу были ясны цели, преследуемые такой статьей. Но почему было избрано именно обвинение в сотрудничестве с фашистами? Оно вызывает гнев у людей, и нет нужды доказывать, виновен человек или нет. Может быть, уже тогда шла подготовка процесса над религиозным инакомыслием, и методично натравливали общественное мнение на Адельгейма? Как иначе объяснить те строки обвинения, в которых в 1970 году утверждается, что

"будучи враждебно настроенным по отношению к государственному и общественному строю в СССР, Адельгейм П. А. с 1957 года начал писать всевозможные статьи, письма, стихи, в которых излагал заведомо ложные, клеветнические измышления в отношении коммунистической идеологии и советской действительности".

В 1956 году реабилитировали Адельгейма.

старшего, расстрелянного в 1942 году. В 1957 году сын начал размышлять о причинах расстрела отца. В 1962 году те же органы государства теми же методами фальсификации и клеветы начали подготовку к процессу над сыном — священником Павлом. Первое слово предоставили печати, и клевета заговорила в полный голос, миллионным тиражом. Сенсация вошла в каждый дом, в читальный зал, в библиотеку, кричала с газетных витрин и обвиняла, обвиняла! И не было от этой клеветы защиты и спасения, так как она была запланированным средством политической борьбы. Печать — "активный помощник партии". Поэтому вряд ли кто-либо проверял то, что было написано Погореловым. Тем не менее я спросил:

— Скажите, Павел Анатольевич, после опубликования статьи с Вами кто-нибудь разговаривал, пытался проверить факты?

— А как же! По поводу этой статьи меня вызывал уполномоченный по делам Русской православной церкви — Иванов. Сопоставив мой возраст с тем, что писал Погорелов, он понял, что обвинение опровергается, и отстал.

— Разговаривал ли кто-нибудь с Вами из редакции? Извинились ли перед Вами? Опубликовали ли опровержение?

— Да что Вы! Мне и в голову не приходило требовать извинения. Отстали и ладно! Посмертно реабилитировав отца, не извинились. Чего уж говорить о клевете в газете. Отстали и ладно, — повторил Павел Анатольевич. — Но теперь-то я

понимаю, что не отстали, а следили! В 1962 году клевета была не случайной ошибкой, а подготовкой. Кому это нужно было – догадаться не сложно. Ведь семь из девяти моих допросов провел следователь КГБ. А для допроса Погорелова специально летали в Куйбышев. Если бы меня действительно хотели обвинить в избиении Тани, то этим занималась бы прокуратура. Обвинение в избиении Тани – предлог, а интересовался следователь КГБ моими убеждениями, моими связями, литературой. Допрашивал о моих отношениях с архиепископом Ермогеном, священниками Эшлиманом и Якуниным.

В кабинете было душно. Очень хотелось пить. Но приносить с собой в кабинет воду и поить заключенного нельзя, запрещено законом. Я нажал кнопку "вызов". Сразу же появился дежурный надзиратель. Молча выслушал просьбу и в граненом стакане принес воду. Павел Анатольевич выпил. Надзиратель забрал стакан и ушел.

– Павел Анатольевич, с какого времени Вы в тюрьме КГБ?

– В тюрьму привезли меня через месяц после ареста. Дома остались без надзора двое детей. Жена была в отъезде. Две недели о судьбе детей я не знал ничего..

С 14 декабря по 13 января меня держали в Ленинском железнодорожном КПЗ*. В баню

* КПЗ – камера предварительного заключения. По закону в ней разрешено держать арестованных не более трех дней.

меня не водили. Я обовшивел. Ежедневно был вшей, но избавиться от них не мог. Я просил следователя о бане, мыле, полотенце, зубной щетке, но все просьбы были напрасны.

Я писал жалобы, заявления. Но ответа ни от кого не получил. К кому я только ни обращался! Вот смотрите: в прокуратуру Ленинского района, в прокуратуру города Ташкента, в прокуратуру Узбекской республики, наконец, к Генеральному прокурору СССР. Ответа я ни откуда не получил. После того как меня перевели в следственный изолятор, я просил следователя уведомить мою жену, чтобы она принесла мне передачу, личные вещи и деньги для тюремного ларька. Целый месяц я не видел следователя. Только после шестого заявления на имя прокурора следователь вызвал меня из камеры для беседы. Но положение мое не улучшилось. Следствие по-прежнему подвергало меня лишениям. За три месяца в результате ухищрений следствия я был лишен более 20 кг самых ценных для заключенного продуктов: сахара, масла, сыра, колбасы, то есть того, что заключенный в тюремной пайке не получает.

А Вы знаете, как меня допрашивали? Ни одного допроса не происходило без ругани, криков, оскорблений, издевательств над моим саном, положением, убеждениями. Особенно изощрялся следователь Газарбеков. Любое слово, сказанное мною, он выворачивал наизнанку и, искажая смысл, превращал добро во зло. Все следствие было откровенно обвинительным и предвзятым.

Следователи и не скрывают, что хотят меня отправить в тюрьму и что суд поступит так, как они хотят.

О Газарбекове я даже прокурору написал. Я просил отстранить его от следствия из-за издевательского, пристрастного и необъективного отношения к делу. Следствие заканчивал следователь Пулатов. Отстранен ли официально Газарбеков, я не знаю. Вот здесь копии и черновики моих жалоб.

Адельгейм протянул мне пачку бумаг.

— Смотрите, в заявлении на имя прокурора Узбекской ССР я писал:

"К Вам обращается священник Русской православной церкви. Написав уже шесть заявлений на имя районного, городского и областного прокуроров, я не имею ни одного ответа".

В этом же заявлении я написал и о том, что мой отец погиб в лагерях. В тюрьмах и ссылках прошла вся жизнь моей матери. Реабилитация их достаточно ясно свидетельствует, что они погибли по липовым обвинениям. Неужели произволу и насилию не будет конца? Неужели кому-то хочется разделить печальную славу прошлого. Я писал, что прошу ответить на мое седьмое заявление.

Заявление я написал 1 января 1970 года. Это душа моя кричала. Думаете ответили? Нет! 19 февраля я написал еще одно. 25 февраля тю-

ремное начальство ознакомило меня с распоряжением Анарбекова: он предложил проверить изложенные мною факты. К сожалению, должность Анарбекова я забыл. Ведь ответы на жалобы дают только читать, переписывать их нельзя.

Я опять стал ждать, думал, проверят, разберутся. 9 марта я не выдержал издевательств и вновь написал заявление и протест.

"Я употребил все законные средства для защиты своих прав. Однако до сих пор вижу полную бесплодность моих заявлений и требований. Я прошу не особых милостей, а исполнения установленных общих правил. Поскольку мои просьбы остаются бездейственными, я вынужден прибегнуть к крайнему средству. С сегодняшнего дня, 9 марта, я отказался от принятия пищи. Голодовку я буду продолжать до тех пор, пока мои законные требования не будут удовлетворены".

10 марта я передал заявление начальству следственного изолятора.

Отложив бумаги Адельгейма, я спросил:

— Сколько жалоб и заявлений Вы написали на имя вышестоящих должностных лиц прокуратуры за все время следствия и нахождения под стражей?

— Около двадцати.

— Сколько ответов получили?

— Один. И тот не мне, а начальнику тюрьмы.

Мне только его прочитали.

— Вот этот? — спрашиваю я и показываю Адельгейму переписанный мною ответ на его жалобу.

Начальнику следственного изолятора КГБ при Совмине Узбекской ССР т. Лысенко для объявления з/к Адельгейму

"При этом сообщаю, что жалобы Адельгейма на имя Государственного прокурора СССР от 18/III—1970 г. на имя прокурора Ленинского района рассмотрены. Однако нет оснований изменять ему меру пресечения.

Приняты меры к скорейшему окончанию расследования по делу.

Прокурор Ленинского р-на г. Ташкент
Хакимов".

— Да, да. Это единственный ответ на мои жалобы!

Перед моими глазами всплывает комментарий к уголовно-процессуальному кодексу: "обжалование действий лица, производящего дознание, следователя и прокурора, есть эффективное средство защиты прав обвиняемого. Советский демократический уголовный процесс обеспечивает..." Вот она иллюстрация, как он обеспечивает! Жалобу посыпает заключенный, ответ приходит начальнику тюрьмы, а заключенному его

лишь объявляют. Заключенный жалуется на имя Генерального прокурора — жалобу рассматривает прокурор района г. Ташкента. До Генерального прокурора жалоба и не доходит. Помнится, в докладе на XX съезде КПСС, говоря о грубых нарушениях закона, Хрущев приводил пример, когда жертвы беззакония писали до 1500 жалоб, и ни одна не доходила до адресата.

Многое уже перенес Адельгейм. Но это только начало. Впереди — судебный процесс, приговор и лагерь. К сожалению, я это знаю твердо, Адельгейм будет осужден, несмотря на вымысел обвинения. В советском суде нельзя доказать правду. Понимает ли Адельгейм, что он будет осужден, вопреки здравому смыслу, логике, чести и закону? Пока ответить себе на этот вопрос не могу.

— Вы понимаете, — говорит Адельгейм, ведь все обвинение — вымысел. Я Таню не избивал, трусы ей не снимал, эту деталь следователь придумал для придания обвинению характера издевательства. Да и к вере я ее не приобщал, у них свой духовник. Что ни слово следствия — то ложь, ложь.

Иной раз мне кажется, я схожу с ума. Для чего все это изощренное изуверство, клевета и цинизм? Ведь дело не только во мне. Поступая так, они ведь извращают извечные человеческие ценности и принципы. Неужели честность и правдивость не важны для социалистического общества? Что утверждается таким следствием? В январе 1969 года я в Ташкенте не был. Было много

служб, и я был в Кагане. В ноябре 1969 года я был в доме Анны Васильевны. Видел, как она била Таню. Но за что? По обвинению получается за то, что Таня отказывалась молиться. А на самом деле Анна Васильевна избила Таню за то, что та ночами не бывала дома, связалась с взрослым парнем, взяла без разрешения бабушки 120 рублей. Когда пропажа обнаружилась, отрицала, что она взяла деньги. Правда, потом призналась, но денег не вернула. Вот за это мать и била ее. Я говорил с Анной Васильевной, что битьем ничего не достигнешь. Но осуждать доведенную до отчаяния мать я не берусь. Следствие пишет, что после избиения Таня уходила из дома — это не правда. Мы с Таней готовили уроки для школы. Весь вечер я читал ей стихи.

Прервав рассказ, Адельгейм с надеждой спросил:

— Скажите, неужели суд во всем этом не разберется? Ведь мое дело так ясно.

Не дождавшись моего ответа, он сказал:

— Но, наверно, из-за того, что все всем ясно, дело мое безнадежно. Им нужно со мной расправиться во что бы то ни стало, им нужна жертва. Это так страшно... И все это уже было... Так, наверное, создавали обвинение моему отцу, матери, деду.

Я смотрю на Павла Анатольевича и думаю:

— Выдержишь ли? Не раздавит ли тебя эта машина?

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

1.

Место действия

Трамваи в Ташкенте ходят медленно и с большими перерывами. Для того чтобы добраться от гостиницы, где я остановился, до суда, нужен был час. Процесс начинается в девять, но в суде нужно быть раньше. Я приехал за час до начала. У здания суда — человек двести. Толпа плотно подпирает двери в надежде проникнуть в зал судебного заседания. Несмотря на раннее время, июльское солнце печет невыносимо. Но в тень никто не идет. В толпе большинство женщин, одетых в черные, свободного покроя платья, в белых косынках, завязанных под подбородком и надвинутых на лоб. Черно-белый цвет придает толпе грустно торжественный вид. К девяти часам подъехала

машина с конвоем МВД. Сержант по-хозяйски постучал, и дверь суда отворилась. Толпа устремилась к двери.

— Отвались! Кому сказали — отвались! — зычно крикнул сержант. На помощь сержанту, заслоняя проход, появился старший лейтенант.

— Будете напирать, никого не пустим! — грозно предупредил он.

Вдруг из толпы кто-то пронзительно крикнул: "Привезли, привезли!" Метрах в пятидесяти от здания суда остановился воронок.* Из него выпрыгнул на землю Павел Анатольевич. Одет он был в темные брюки и белую рубашку. В руках у него был пиджак и котомка с продуктами. Сразу же его окружил вооруженный конвой. Высокие здоровые солдаты с винтовками и примкнутыми к ним штыками создали вокруг него кольцо.

Увидев толпу и, видимо, узнав знакомых, Павел Анатольевич улыбнулся беззащитной детской улыбкой. Надел пиджак, белый ворот рубашки выпустил поверх него и застыл. Весь его облик излучал юношескую пылкость, доброту, свет. Раздалась команда "шагом марш", и его повели.

В толпе кто-то запричитал: "Сердечный ты наш! За что же-то они тебя, супостаты!" Многие молились. Две пожилые женщины, оттолкнув конвой, припали к руке отца Павла. Кто-то встал на колени.

* Автомашина, специально оборудованная для перевозки заключенных.

Резкая команда "разойдись, стрелять будем" отодвинула толпу, солдаты оторвали припавших к руке отца Павла женщин и почти бегом ввели его в суд. Вслед за ним вошел и я. Адельгейма посадили на специально отгороженное для заключенных место. Справа и слева встали конвойные. Несколько человек сидело у окон, а сержант расположился у двери. Проходя мимо Адельгейма я поздоровался.

— Здравствуйте, Павел Анатольевич.

Сержант сразу вскочил и рявкнул: "Не разговаривать, запрещено".

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление и рассказать о праве адвоката на общение со своим подзащитным в процессе. Допущенный к делу адвокат имеет право на свидание и обязан оказывать обвиняемому необходимую ему юридическую помощь.

В судебном же заседании свидание адвоката с подзащитным возможно только во время перерыва в процессе и под неослабным вниманием конвоя. Практически это происходит так. Стучишь в дверь совещательной комнаты, где находится состав суда. Если тебе разрешают войти, то обращаешься с просьбой о свидании. Секретарь передаст разрешение судье начальнику конвоя, и можно приступить к беседе. Беседа проходит тут же на глазах у конвоя, который слушает и докладывает судье обо всем, что говорит адвокат подсудимому. Сколько адвокаты ни добивались изменения порядков, но воз и ныне там. Десятилетиями этот вопрос

"подымают", но решения его не предвидится. Так обвиняемый оказывается без поддержки защиты. Он не может обсудить с адвокатом свои ответы на вопросы суда, прокурора, экспертов. Попытки адвокатов оказать юридическую помощь подзащитному расцениваются как дисциплинарный проступок и влекут за собой вынесение судами частных определений, в которых суд доводит до сведения "о неправильном" поведении адвоката.

В зал вошел начальник конвоя, молодцеватого вида младший лейтенант. Конвойные вскочили. Сержант хотел отрапортовать по форме, но начальник, махнув рукой, сказал "оставить" — и сел рядом с сержантом на скамью. Сержант что-то прошептал начальнику и тот, повернувшись ко мне, сказал:

— Разговоры запрещены. Хотите разговаривать, обращайтесь к судье.

— Хорошо, я пойду спрошу разрешения у судьи, чтобы поздороваться с подзащитным.

Я вышел из зала. В кабинете судьи не было. Секретарь сказала, что она у председателя городского суда, а без нее разрешить свидание в процессе никто не может. Напрасно проходив полчаса, я вернулся в зал. Время близилось к десяти. За окнами зала гудела толпа, слышны были выкрики "почему непускают?"

В половине одиннадцатого в зал суда вошла девушка. В руках у нее пузырек с чернилами, ручка и столка бумаги. Подошла к начальнику

конвоя и, сказав: "Можно запускать людей", — села за стол секретаря судебного заседания.

Начальник конвоя переспросил: "Запускать всех?"

— Нет, только на сидячие места.

Я посчитал, в зале было около тридцати мест. Большую половину зала заняли судейский стол, столы обвинения, защиты, огороженное место для заключенного. Две передних скамьи были предназначены для допрошенных свидетелей.

Из конвойной комнаты вызвали подкрепление, и к входной двери суда направился наряд из шести солдат.

— Открывай, — скомандовал начальник. Дверь отворилась с треском, и в узкий проем, образованный открытой половинкой двери, устремились, отталкивая друг друга, люди. Наконец, несколько человек оторвались от толпы и оглядываясь побежали по коридору. Увидев открытую дверь, бросились туда и сели в первый ряд.

Подошел один из конвойных и приказал освободить передние скамейки. Зал заполнился моментально. Все, даже старушки, бежали, чтобы занять места. Потом, сидя в зале, запыхавшись вытирали кончиками белых платков пот, доставали лекарство и запивали его водой из принесенных с собой бутылок. Придя в себя, сразу опускали головы до колен и незаметно крестились. Потом поворачивались в

сторону отца Павла и страдальчески смотрели на него.

А у дверей суда шла настоящая битва. Конвойные пытались закрыть дверь, но толпа напирала. Вдруг раздался пронзительный бабий крик. "Ой, батюшки мои, зажали, раздавили!" Крик сменился плачем и воем. Но остановить людей было невозможно. Еще немногого, и они опрокинут солдат. Старший лейтенант вызвал подмогу. Пройдя через черный ход и обежав вокруг здания, солдаты подбежали к толпе с тыла. Разбрасывая и отталкивая людей в стороны, ругаясь и уговаривая, солдаты пробились к дверям. Дверь закрылась. Процесс можно было начинать. В зал всплыла судья. За ней покорношли, опустив головы, двое мужчин, один — русский, другой — узбек. Вскочив со стула, секретарь скомандовала звонким голосом: "Встать! Суд идет!" Неохотно подымаясь, люди смотрели на шествующий по залу суд и вздыхали.

Встав у своего места за судейским столом и держа в руках дело, судья скомандовала "Садитесь!" — и отчетливо и внятно произнесла: "Судебное заседание Ташкентского городского суда объявляется открытым. Слушается уголовное дело по обвинению Адельгейма..."

2.

Действующие лица

Только тут я обратил внимание на то, что напротив меня за столом обвинителя сидит высокая, худая, коротко остриженная, с бесцветным лицом женщина. Серые холодные глаза привычно и безучастно смотрели на подсудимого.

— Товарищ секретарь, дождите о явке, — приказала судья.

Секретарь встала и отчеканила:

— Прокурор, старший помощник прокурора Ташкенской области Шевченко, адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов Юдович, общественный обвинитель Олененко, а также свидетели, указанные в списке обвинительного заключения, явились; за исключением: Шамсутдиновой, Баркова, Караева, Якунина, Эшлимана, Карелина, Погорелова, Водопшина и Свистуна. Подсудимый Адельгейм доставлен в зал под конвоем, подсудимые Пивоварова и Шкуренок под подпиской о невыезде, также в зале. Причина неявки свидетелей неизвестна.

Итак, начинаются режиссерские поправки. Необходимые для защиты свидетели отсутствуют, а не вызывавшийся в суд общественный обвинитель — на месте. Пока судья удаляет из зала свидетелей, обдумываю создавшееся по-

ложение. Свидетели выходят из зала, передняя скамья освобождается, но остается девочка, небольшого роста, хрупкая с нагловатыми, хитрыми глазенками, удивленно смотрящими на происходящее. Это Таня Шкуренок — одно из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии.

Когда дверь за последним свидетелем захлопнулась, Лобанова обратилась к Павлу Анатольевичу.

— Ваша фамилия?

— Адельгейм.

— Имя, отчество, год рождения, образование, семейное положение?

Павел Анатольевич спокойно ответил на все вопросы. Подождав пока секретарь записала ответы, Лобанова продолжала:

— Ваша национальность?

— Русский.

— Русский? — с недоверием переспросила судья. А почему же такая странная у Вас фамилия, не то немецкая, не то еврейская?

— Я русский, христианин, а предки мои из Германии.

— Ну русский, так русский, — прокомментировала судья.

— Когда Вам вручили копию обвинительного заключения?

Получив ответ, Лобанова о том же спросила Шкуренок А. В. и Пивоварову Е. Я., и объявила состав суда. Назвала фамилии прокурора, адвоката, секретаря судебного заседания.

Три фамилии начинались на "Ш". Прокурор Шевченко, народный заседатель Шевцов, секретарь Шагина.

— Ша, ша, ша! — мысленно произношу я, — все должно быть тихо — ша, ша, ша! Нет, тихо не будет!

— Есть ли отводы составу суда, кому либо из судей, прокурору или секретарю? — Голос Лобановой звучал громко, внятно и официально. — Разъясняю Вам, — продолжала она, — отвод может быть заявлен только по основаниям, указанным в законе.

Открыв уголовно-процессуальный кодекс, она зачитала статью об основаниях отвода.

— Подсудимый Адельгейм, Вам ясно Ваше право на отвод?

Оснований для отвода, как правило, не бывает ни у кого. Судья не родственник ни обвиняемому, ни потерпевшему, он не свидетель и не эксперт. Доказательств того, что судья прямо или косвенно заинтересован в вынесении обвинительного приговора у Павла Анатольевича не было. Поэтому он заявил, что отводов судьям и прокурору у него нет.

— Доверяете ли Вашу защиту адвокату?

— Доверяю.

— Вам разъясняются Ваши права: Вы имеете право знать, в чем обвиняетесь, давать объяснения предъявленному обвинению, представлять доказательства, заявлять ходатайства. Вы имеете право на последнее слово и обжалование приговора.

Все это Лобанова произнесла привычной

скороговоркой и сразу же, обращаясь только к Адельгейму, спросила:

— У Вас ходатайства есть?

— Все ходатайства заявит мой защитник.

— У защитника мы еще спросим, а сейчас я спрашиваю, есть ли ходатайства у Вас?

— Я еще раз повторяю, что все необходимые ходатайства заявит мой адвокат, — спокойно парирует Адельгейм.

— Садитесь! Есть ли ходатайства у участников процесса? Товарищ прокурор, у Вас, кажется, что-то было.

Прокурор встала и спокойно зачитала заранее подготовленное и отпечатанное на машинке ходатайство о том, что она просит допустить в качестве общественного обвинителя товарища Олененко, выдвинутого общим собранием преподавателей одного из ташкентских институтов. Протокол общего собрания, доверенность, заверенная подписью председателя, секретаря собрания и печатью института, подтверждали его полномочия. Прокурор передала документы судье. Даже не взглянув на них, Лобanova наклонилась направо и налево к заседателям, они кивнули головой, и судья начала диктовать секретарю определение. Я встал.

— Товарищ председательствующий, я прошу не нарушать права защиты. В соответствии с законом Вы обязаны дать мне возможность ознакомиться с документами и выслушать мое мнение по заявленному ходатайству.

Лобанова посмотрела на меня с досадой, но согласилась и передала мне документы для ознакомления. Документы были оформлены правильно. Через несколько минут судья протянула руку за документами и нетерпеливо ждала, чтобы я вернул их ей. Но я не торопился их отдавать.

— До того как я выскажу свое суждение по заявленному прокурором ходатайству, я прошу разрешения задать вопросы по поводу представленных документов кандидату в общественные обвинители — Олененко.

Торопясь быстрее закончить процедурные вопросы, судья разрешила.

— Скажите, кто выдал Вам доверенность?

Мой вопрос был явно неудачен, и Лобанова не преминула этим воспользоваться:

— Вопрос снимается, так как ответ содержится в документе. Следующий вопрос.

— Какое отношение к Вашему коллективу имел Алельгейм, знали ли Вы или члены Вашего коллектива его до собрания?

Олененко с готовностью ответил:

— Нет, не знали.

— Кто же предложил выдвинуть общественного обвинителя и кто информировал собрание о деле Адельгейма?

Судья вновь хотела вмешаться, но Олененко уже успел ответить:

— К нам в институт приходили два следователя, были на собрании и сказали, что нужен общественный обвинитель.

Лобанова сразу прервала его и, обращаясь ко мне, заявила:

— Ваши вопросы не имеют отношения к делу. Ваше мнение по заявленному ходатайству, пожалуйста.

Решение о том, как поступить у меня уже созрело.

— Одновременно с рассмотрением ходатайства о допуске общественного обвинителя к участию в процессе я прошу рассмотреть мое ходатайство о допуске общественного защитника, выделенного общим собранием прихожан и церковной двадцатки.

Вопреки моим ожиданиям, прокурор поддержала мое ходатайство и посчитала возможным участие в деле и общественного обвинителя, и общественного защитника.

Посоветовавшись с заседателями, Лобанова объявила, что суд постановил допустить к делу общественного обвинителя Олененко, а ходатайство защиты о допуске общественного защитника — отклонить, так как церковь отделена от государства и не является общественной организацией.

— Есть ли у участников процесса другие ходатайства? — спросила судья.

— У защиты ходатайства есть. Первое. В число лиц, вызываемых в суд, не включен никто из экспертов, проводивших литературно-идеологическую экспертизу. Обвинительное заключение ссылается на экспертизу как на доказательство вины Адельгейма. Заключение экспертов должно быть проверено в суде. Поэтому я

прошу вызвать в суд всех экспертов во главе с профессором Маковым. Второе. Таня Шкуренок — несовершеннолетняя. Ей всего пятнадцать лет. Ее законный представитель — мать, Шкуренок Анна Васильевна, — подсудимая. Считаю необходимым вызов в суд учителя школы, для того чтобы он присутствовал при допросах несовершеннолетней.

Судья слушала внимательно, потом в нарушение процедуры задала вопрос мне.

— Думали ли Вы о том, где мы сейчас возьмем экспертов и педагога? Ведь время сейчас каникулярное, и все они, наверняка, в отпуске.

Я мог не отвечать. Но я решил парировать ее выпад против меня.

— Время слушания дела определяет суд, и протокол предания суду подписан Вами. По закону суд и лично Вы должны обеспечить явку экспертов в судебное заседание.

Не дав слова прокурору, Лобанова схватила тома, вскочила и уже на ходу бросила в зал:

— Объявляется перерыв на десять-пятнадцать минут.

Какой смысл был в ходатайствах защиты? Я надеялся допросом экспертов показать надуманность обвинения, ложность и ненаучность экспертизы. Отсутствие экспертов в суде лишило меня этой возможности. Почему-то следствие не хотело, чтобы эксперты были в суде, и поэтому не включило их в список лиц, вызываемых в суд. Присутствие педагога при до-

просе несовершеннолетних, как подсказывал мне мой опыт, увеличивало шансы на то, что Таня на суде расскажет правду.

3.

Перерыв

Для чего существуют перерывы в судебном процессе? Ну что за нелепый вопрос, возмутится читатель и будет неправ. У перерывов свое функциональное значение. Перерыв объявляется для подсудимого и публики. Для судьи и прокурора перерыв — это напряженная работа. Не стесненные законом, публичностью и гласностью уголовного процесса, в привычной рабочей обстановке судья сговаривается с прокурором обо всем, что потом будет ею написано в совещательной комнате с соблюдением судебной процедуры. Но не только с прокурором совещаются судьи. Перерыв — это время докладов начальству, консультаций со следователями, время ответственных звонков. В общем, перерыв — время получения указаний для "самостоятельных" судебных решений.

Во время перерыва я остался в зале. Вдруг Адельгейм без разрешения конвоя обратился ко мне.

— Вы видели в зале следователя КГБ Витенкова? Высокий в кремовой безрукавке?

Конвойный грозно закричал: "Прекратить разговоры", — но все, что Павел Анатольевич хотел,

он уже успел сказать. Я еще раньше обратил внимание на высокого молодого человека, с сильными руками, которого конвойный с почтением впустил в зал. Но я не знал, что это был Витенков.

— Так, — подумал я, — решил непосредственно сам наблюдать, как будет происходить процесс. Так сказать, авторский надзор.

Несмотря на предупреждение конвоя, Адельгейм вновь обратился ко мне. •

— А следователю можно быть в зале суда?

Этот вопрос в судах возникал неоднократно. Присутствие следователя в судебном заседании подсудимым воспринимается как открытое давление на суд. Поэтому сами следователи на процессе присутствуют редко. Есть другие скрытые формы воздействия на суд. Но в процессе Адельгейма было иначе. Следователь КГБ Витенков постоянно присутствовал в зале суда, следил за допросами подсудимых, свидетелей и эксперта, а потом, укрывшись в кабинете судьи, вместе с ней решал все вопросы.

Попытки адвокатов добиться удаления следователя из зала суда, предпринимаемые в обычных уголовных процессах (не говоря уж о процессах политических), успеха не имели. Отклоняя ходатайство защиты, суды мотивировали отказ тем, что то, что законом не запрещено, считается разрешенным. Поэтому я ответил Павлу Анатольевичу, что закон не запрещает следователю присутствовать в суде.

В зале было душно, и открывать окна было бессмысленно: на улице — еще жарче. Потолочные вентиляторы работали во всю мощь моторов, но прохладнее от этого не становилось. Павел Анатольевич вытирая вспотевшее лицо. Гимнастерки конвоя промокли и стали темнозелеными. Едкий запах юфтовых сапог и пота выталкивал всех в коридор. Вышли прокурор и секретарь. У меня в запасе было десять минут, и я, решив попить воды или квасу, вышел на улицу. На углу торговали газированной водой. Стояла длинная очередь. Меня пропустили вперед. Вода оказалась теплой и без газа. Продавщица объявила: "Газ кончился". Но людей мутила жажда, и они бросали в тарелку пятаки и пили теплую невкусную влагу. Метрах в ста от тележки с водой стояла бочка с квасом. Черными буквами масляной краской на фанере было написано "кваса нет". Так и не утолив жажду, я поспешил в зал суда. Время, объявленное для перерыва, истекло, но в зале никого не было. Только через час появилась секретарша и объявила обеденный перерыв. Павел Анатольевич достал из котомки хлеб, сыр, сахар. Солдат принес ему в жестяной кружке воду, и обед начался.

В два часа время обеденного перерыва истекло, но перерыв продолжался. Я решил выяснить, когда же, наконец, процесс будет продолжен. Дверь в кабинет судьи была полуоткрыта. Кроме Лобановой там были прокурор и следователь КГБ Витенков. Увидев ме-

ня, судья пригласила зайти и, предугадывая мой вопрос, объяснила:

— Мы связываемся с экспертами.

Значит, решил я, тройка решила мое ходатайство удовлетворить. В конце дня суд, наконец, решил вызвать экспертов и педагога. После чего был объявлен перерыв до следующего дня.

Когда я вышел в коридор, ко мне подошли адвокаты из ташкентской коллегии. Один из них, узнав, что я защищаю Адельгейма, спросил:

— Ну-с, как дельце? Как будете защищать?

И не ожидая ответа, продолжал:

— Мы, знаете, уважаемый, отказались от защиты... рискованно... да и не к чему...

Потом с горечью добавил:

— Все равно, что с... против ветра.

Я не ответил ему. Он был в значительной степени прав. Я знал об отношении ташкентских адвокатов к участию в политических процессах, да и не только ташкентских... Многие мои коллеги из Москвы тоже придерживались этой позиции, и не без основания. Если судебный процесс — политический спектакль, фарс с заранее написанным сценарием и известным концом, то честнее в таком спектакле не участвовать.

Так-то оно так! Не участвуя в процессе, можно сохранить душевный комфорт и довольствоваться собственной порядочностью. Но кто поможет таким людям, как Адельгейм? Если не будет адвоката по соглашению, то он будет назначен судом, и к обвиняемому придет

человек, который не связан с его близкими, и к которому у него нет доверия. Поможет ли он Адельгейму? Сделает ли он хотя бы то немногое, что может и должен сделать? Нет, отказываться от защиты нельзя, и я буду защищать Адельгейма. В этом есть практический смысл. В юстиции появилось и повсеместно бытует интересное явление: двойные оценки происходящего, двойной счет. Одни оценки, один счет, для официального употребления по долгу службы; другой — для себя, для семьи, для друзей. И оценки эти у одних и тех же лиц диаметрально противоположны. Несколько раз я был случайным свидетелем разговоров, подтверждающих мои наблюдения. Вот один из них:

— Я вчера осудила человека. Ну ни за что! Всю ночь не спала. Ведь мой сын говорит и думает также! И знаете, я не могу ему возражать, он во многом прав! Но, что я могла сделать, я обязана была его осудить, я ведь государственный человек.

Разговоры экспертов между собой также подтверждали мои наблюдения.

— Мне так неловко, что я участвовал в процессе. Во многом обвиняемый прав. Симпатичный человек. Но что я могу сделать? Я обязан был подтвердить заключение, которое дал на следствии.

Двойной счет, двойная оценка — что это? Раздвоение личности?

Второй счет владеет умами людей. Вот этот второй счет — самостоятельное, неподконтрольное государству мышление и есть почва инакомыслия. Для него нужна правда. И если адвокат может сказать хоть одно слово правды, он обязан его сказать и обязан защищать. Я придерживаюсь этой позиции, надеясь, что она даст свои всходы, и люди освободятся от этого двойного счета.

•

Окончание см. в выпуске № 18.